

Говард Филлипс Лавкрафт

Музыка Эриха Цанна

(The Music of Erich Zann)

Я тщательнейшим образом изучил карты города, но так и не смог обнаружить на них Rue d'Auseil. Причем я пользовался не только современными картами - ведь названия могут меняться. Поэтому я не обошел вниманием ни один из старинных уголков той части города; я лично осмотрел каждую улицу, независимо от ее названия, если она хотя бы отдаленно напоминала ту, которую я знал как Rue d'Auseil. Но все мои усилия были тщетны - к стыду своему, мне так и не удалось отыскать ни дом, ни улицу, ни даже район, где я последние несколько месяцев своего полунищенского студенческого существования (я изучал метафизику в университете) слушал музыку Эриха Цанна.

Провалы в памяти меня не удивляют, ибо мое здоровье - и душевное, и телесное - оказалось сильно подорванным за то время, пока я проживал на Rue d'Auseil; насколько я помню, я не приглашал туда никого из своих немногочисленных знакомых. Но то, что я никак не могу отыскать это место, удивляет и обескураживает меня: оттуда до университета всего-то полчаса ходьбы, да и сама улица примечательна такими особенностями, какие, раз увидев, едва ли забудешь впоследствии. Однако мне так и не встретился хоть кто-нибудь, видевший Rue d'Auseil.

Она располагалась по ту сторону темной реки, по берегам которой тянулись крутостенные кирпичные пакгаузы с подслеповатыми окошками, а берега эти соединял тяжелый и мрачный каменный мост. Возле реки всегда стояла тень, словно дым с ближних фабрик навек закрыл собою солнце. Кроме того, от реки исходил гнилой запах, и такого зловония мне больше нигде не доводилось встречать; возможно, когда-нибудь именно оно поможет мне отыскать то место - я наверняка сразу же узнаю этот запах. За мостом начинались мощеные булыжником узкие улочки с рельсами, а затем шел подъем - поначалу пологий, но становившийся невероятно крутым в районе самой Rue d'Auseil.

Никогда еще не доводилось мне видеть столь узкой и крутой улицы. Она являла собой почти что горный утес: по такой не проедешь ни на машине, ни на повозке; местами она превращалась в гигантскую лестницу, а на вершине заканчивалась высокой стеной, увитой плющом. Вымощена она была неровно: где каменными плитами, где булыжником, а кое-где проглядывала голая земля с чахлой, зеленовато-серой травой. Высокие, островерхие дома были поразительно старыми и опасно кренились фасадом, задней или боковой стороной. Иногда два дома, стоящие напротив и оба крениющиеся вперед, почти соприкасались верхами и образовывали нечто вроде арки; при этом они, конечно же, создавали внизу постоянную густую тень. Некоторые противоположные дома были соединены зависшими над улицей мостиками.

Обитатели улицы произвели на меня весьма странное впечатление. Причина - как я думал сперва - заключалась в их необычайной скрытности и молчаливости; однако позднее я объяснил это тем, что все они были глубокими стариками. Ума не приложу, как меня угораздило поселиться в подобном месте, однако я тогда был просто сам не свой. До

того я сменил немало нищенских каморок, откуда меня неизменно выселяли, ибо мне было нечем платить; в конце концов мне подвернулось это шаткое жилище на Rue d'Auseil, владельцем коего являлся паралитик по имени Бландо. То был третий - если считать от верхней части улицы - дом, и высотой он превосходил все прочие.

Моя комната располагалась на шестом этаже, где была единственной обитаемой, да и во всем доме почти не было жильцов. В первую же ночь я услышал странную музыку; она доносилась откуда-то сверху, из-под самой крыши. На следующий день я расспросил хозяина, старого Бландо, и вот что он мне ответил: наверху, в мансарде, живет немец, странный немой старик, назвавшийся Эрихом Цанном; вечерами он играет на виоле в оркестрике какого-то дешевого варьете; ночами, по возвращении с работы, Цанну хотелось играть дома, а потому он и выбрал себе эту изолированную высокую чердачную комнату с одним слуховым окном - оно было единственной точкой на всей улице, откуда открывалась панорама склона, начинавшегося за тупиковой стеной.

С тех пор я слышал игру Цанна каждую ночь, и хотя музыка его не давала мне спать, она зачаровывала меня своим необычным звучанием. Я слабо разбирался в искусстве, однако был уверен, что исторгаемые Цанном звуки не походили ни на какие другие, слышанные мною прежде, из чего я заключил, что он был весьма оригинальным и одаренным композитором. Чем дольше я слушал, тем больше поражался и наконец через неделю решил познакомиться со стариком.

Однажды поздно вечером, когда Цанн возвращался из варьете, я остановил его в коридоре и сказал, что хотел бы познакомиться с ним и поприисутствовать на его ночном домашнем концерте. Музыкант оказался худым, сутулым человечком с голубыми глазами, фантастическим лицом сатира и довольно большой лысиной; одежда его была сильно поношена. Первые же мои слова, похоже, рассердили и испугали его, однако, видя, что я настроен дружелюбно, он все же смягчился и неохотно дал знак следовать за ним по темной, скрипучей и шаткой лестнице на чердак. Комната его - а их было всего две в этой мансарде под круто уходящей вверх крышей - располагалась на западной стороне и единственным окошком смотрела на высокую стену, которой заканчивалась улица. Помещение было на удивление просторным и казалось еще просторнее из-за крайней скудости обстановки, которая заключалась в узкой железной кровати, грязном умывальнике, небольшом столике, просторном книжном шкафе, металлическом пюпитре и трех старинных стульях. На полу были в беспорядке свалены в кучу нотные листы. Стены были обшиты простыми досками без малейших следов штукатурки; из-за обилия пыли и паутины комната казалась скорее нежилой, чем обитаемой. Очевидно, представления о красоте у Эриха Цанна целиком относились к миру, далекому от повседневных забот - миру его фантазии.

Знаком предложив мне сесть, немой старик запер дверь, опустил массивный деревянный засов и зажег свечу, добавив ее свет к свету той, которую он принес с собой. Затем открыл изъеденный молью футляр, извлек из него виолу и устроился вместе с инструментом на единственном более-менее удобном стуле. Пюпитром он пользоваться не стал, играл по памяти, выбрав то, что счел нужным, и, тем не менее, на целый час околдовал меня дивными, неведомыми звуками - должно быть, то были мелодии его собственного сочинения. Человек, несведущий в музыкальных тонкостях, не в состоянии

полно описать их словами. Отчасти это походило на фугу с завораживающими повторениями пассажижей, причем, как я заметил, мелодия была начисто лишена тех странных звуков, какие мне доводилось слышать по ночам прежде.

Я запомнил кое-какие отрывки из его прежних произведений и частенько напевал и насвистывал их себе под нос как умел; когда же старик в конце концов отложил в сторону смычок, я попросил исполнить что-нибудь из тех мелодий. Но стоило ему услышать мою просьбу, как с его морщинистого сатиropодобного лица слетело выражение скучающего спокойствия, сохранявшееся в течение всего этого сольного концерта, и вновь появилось все то же странное сочетание рассерженности и испуга, которое я впервые отмстил, заговорив со стариком. Я попытался было настаивать на своей просьбе, не слишком обращая внимание на старческие капризы; попробовал даже настроить его на соответствующий лад. Для чего просвистел некоторые из причудливых мелодий, услышанных прошлой ночью. Но все мои попытки продлились лишь несколько мгновений, ибо как только немой музыкант узнал эти мелодии, лицо его неопиcуемо исказилось, он вскинул правую руку и холодной костлявой ладонью закрыл мне рот, прервав мой неумелый свист. Затем он повел себя еще более загадочно, бросив испуганный взгляд на единственное занавешенное окошко, словно опасался какого-то незваного гостя. Поведение его казалось абсурдным вдвойне, поскольку мансарда была совершенно недоступна, будучи расположена очень высоко над всеми прилегающими крышами - так высоко, что, по словам консьержа Бландо, это слуховое окно являлось единственной точкой на всей крутой улице, откуда можно было заглянуть за тупиковую стену.

Теперь, когда старик бросил взгляд на окно, я вспомнил те слова и ощутил внезапное желание, почти прихоть, выглынуть наружу и полюбоваться широкой, головокружительной панорамой залитых лунным светом крыш и городских огней там, за стеной - ведь из всех обитателей Rue d'Auseil видеть это мог только он, непонятный, раздражительный музыкант. Я двинулся к окну и совсем уже собрался отдернуть нелепые занавески, когда немой старик, перепуганный и разозленный пуще прежнего, снова кинулся ко мне; на сей раз он мотал головой в сторону двери и, судорожно вцепившись в меня обеими руками, силился оттянуть прочь от окна. На сей раз я почувствовал неподдельное отвращение к негостеприимному хозяину комнаты и велел ему отпустить меня, сказав, что сейчас же уйду сам. Хватка его слегка ослабла, он заметил, что я оскорблен и унижен, и его собственный гнев стал стихать. Он опять сжал меня, но теперь это было дружеское пожатие; он усадил меня на стул, после чего с тоскливым видом подсел к захламленному столу и принялся писать карандашом какое-то длинное письмо.

Наконец он вручил мне свое послание (оно было составлено на вымученном французском языке - как обычно получается у иностранцев), в котором призывал к терпимости и прощению. В нем Цанн объяснял, что он стар и одинок, что его мучают непонятные страхи и нервные расстройства, связанные с музыкой и чем-то еще. Ему понравилось, что сегодня у него был такой слушатель; он приглашал меня заходить в будущем и просил не осуждать его причуды. Он совершенно не мог исполнять свои странные сочинения на публике и не выносил слушать, как их исполняют другие; он также не выносил, когда кто-либо трогал что-нибудь в его комнате. До нашего разговора

там, в коридоре, он не подозревал, что я у себя в комнате могу слышать, как он играет по ночам, поэтому теперь он предлагал мне договориться с Бландо и переехать ниже, где мне ничего не будет слышно, а разницу в оплате он обещал возместить.

По мере того, как я расшифровывал едва понятное французское письмо, я все больше проникался сочувствием к его автору: старик был жертвой телесных и душевных страданий, как и я; а занятия метафизикой научили меня доброте. В тишине от окна донесся едва слышный звук - должно быть, ставень задрожал от порыва ночного ветра - и я почему-то вдруг вздрогнул почти так же сильно, как Эрих Цанн. Дочитав письмо, я пожал музыканту руку, и мы расстались друзьями. На следующий день Бландо выделил мне более дорогую комнату на четвертом этаже. Моими соседями слева и справа оказались пожилой ростовщик и солидный мастер-обойщик. На пятом этаже жильцов не было.

Вскоре я обнаружил, что Цанн отнюдь не жаждет моего общества - во всяком случае при наших последующих встречах он никогда больше не выказывал той горячности, с какой ранее уговаривал меня переехать ниже. Он не звал меня к себе, а когда я все-таки заходил, старик явно нервничал и играл беспокойно. Это всегда случалось по ночам, ибо днем он спал и никого к себе не впускал. Я не испытывал к нему большого расположения, хотя и чердак, и странная музыка необъяснимым образом манили меня к себе. Во мне поселилось необычное желание: бросить взгляд из того слухового окна на невиданный доселе пейзаж за стеной - туда, где должен был находиться противоположный склон холма с блестящими крышами и шпилями. Однажды вечером, когда Цанн играл в своем варьете, я поднялся к мансарде, но дверь в его комнату была заперта.

Мне удалось только одно: подслушать, как немой старик играет по ночам. Сначала я прокрадывался на шестой этаж, где жил прежде, а затем осмелел настолько, что начал подниматься по скрипучей лестнице до самой мансарды. Там, в узком коридоре, возле запертой на засов двери с прикрытой чем-то изнутри замочной скважиной, я часто слышал звуки, которые наполняли меня неизъяснимым ужасом. Вместе со смутным беспокойством у меня возникало ощущение какой-то мрачной тайны. Сами звуки нельзя было назвать жуткими - вовсе нет; но они обладали каким-то неземным, нечеловеческим свойством, а временами переходили в подлинное многоголосье, и с трудом верилось, что на это способен один исполнитель. Эрих Цанн, безусловно, был гением, обладавшим необузданной творческой фантазией. Протекли недели, музыка делалась все более дикой и странной, а вид у старика, между тем, становился все более изможденным и затравленным - на него было жалко смотреть. Теперь он вовсе перестал пускать меня к себе и сторонился, когда нам случалось встретиться на лестнице.

И вот однажды ночью, когда я в очередной раз подслушивал у двери, визгливые звуки виолы разрослись до невообразимого шума, и эта дьявольская какофония наверняка лишила бы меня остатков разума, если бы вслед за тем из комнаты не донесся жалобный стон - доказательство того, что там происходило нечто поистине ужасное. То было жуткое мычание, какое может вырваться только у немого и только в минуту величайшего страха или невыносимой боли. Я забарабанил в дверь, но мне никто не ответил. Тогда я стал ждать в темном коридоре, дрожа от холода и страха - и через некоторое время услышал, как несчастный музыкант пытается подняться с пола, опираясь на стул. Я подумал, что

старик очнулся от какого-то обморока или припадка; тогда я вновь застучал в дверь, выкрикивая свое имя, чтобы не напугать его. Было слышно, как Цанн неверными шагами приблизился к окну, закрыл ставень и скользящую раму, затем, спотыкаясь, добрал до двери и кое-как открыл ее, дабы впустить меня. На сей раз он был искренне рад видеть меня: его искаженное лицо облегченно разгладилось, он цеплялся за мой сюртук, точно ребенок за материнскую юбку.

Весь дрожа, бедный старик усадил меня на стул и сам опустился на другой, возле которого на полу лежали брошенные виола и смычок. Он сидел почти неподвижно, изредка кивая головой, и, казалось, к чему-то испуганно и напряженно прислушивался. Наконец, будто удовлетворившись услышанным, он пересел к столу, написал короткую записку и вручил мне, а сам вновь принялся торопливо писать. В записке он умолял меня ради всего святого и ради моего же любопытства терпеливо подождать, пока он подробно изложит по-немецки все о том ужасном и сверхъестественном, что неотступно его преследует. И я ждал, а карандаш немого все бегал и бегал по бумаге.

Минуло около часа: мое ожидание затягивалось, старик лихорадочно продолжал писать, стопка готовых листов все росла, и вдруг я заметил, что Цанн вздрогнул, как будто от эха чудовищного удара. И точно - он смотрел на занавешенное окно и прислушивался, содрогаясь от ужаса. Тут, как мне смутно показалось, и я расслышал какой-то звук: в нем не было ничего жуткого, он больше походил на очень низкую и бесконечно далекую ноту - ее мог бы исполнить музыкант в одном из соседних домов или в каком-нибудь из жилищ по ту сторону высокой стены, заглянуть за которую мне так и не удалось. На Цанна же этот звук подействовал страшным образом: он выронил карандаш, резко поднялся, схватил виолу и наполнил ночной эфир самой неистовой своей музыкой, какую я когда-либо слышал - за вычетом тех недавних моментов у запертой двери.

У меня не найдется слов описать игру Эриха Цанна в ту кошмарную ночь. Вся жуть, пережитая мной накануне, не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось в комнате в тот момент, ибо на сей раз я видел лицо старика и явственно сознавал, что сейчас он играет исключительно из страха. Цанн пытался произвести как можно больше шума, заглушить или отвести от себя нечто; и хотя я не знал, что именно, но чувствовал, что это было нечто страшное. Музыка становилась все более нечеловеческой, безумной и бешеной, но при этом сохраняла все свойства подлинной гениальности, которой, несомненно, обладал загадочный старик. Я уловил мелодию - то был чардаш, излюбленный танец в тогдашних варьете; в какой-то миг мне пришло в голову, что я впервые слышу, как Цанн исполняет не собственное сочинение.

Все громче и громче, все безумнее и безумнее завывала и взвизгивала отчаянная виола. Пот градом катил с музыканта. Как в кошмарном сне, старик по-обезьяньи дергался, не отрывая дикого взгляда от занавешенного окна. Его исступленная музыка почти явственно рисовала мне фигуры темных сатиров и вакханок, бешено крутящихся в бездонном круговороте дыма, облаков и молний. А затем мне почудился другой звук, исходивший не от виолы - он был пронзительнее, протяжнее, шел издалека, с запада, и недвусмысленно передразнивал Цанна.

В этот миг задрожал ставень: дико завыл ночной ветер, словно в ответ на истошную музыку, несшуюся из комнаты. Теперь виола буквально бесновалась и исторгала такие

звуки, каких я никогда не думал услышать от этого инструмента. Ставень задрожал громче, раскрылся сам собой и захлопал об оконную раму. Затем от его настойчивых ударов вдребезги разбилось стекло, и в комнату ворвался холодный ветер, от которого затрещали свечи и на столе зашелестели листы бумаги - на них Цанн описывал свою страшную тайну. Я посмотрел на старика: он уже перестал замечать что-либо вокруг себя. Его голубые глаза выпучились, остекленели и ничего не видели, а неистовая игра превратилась в слепую, механическую, неузнаваемую вакханалию, какую не передать пером.

Внезапный, сильнее прочих, порыв ветра подхватил исписанные листы и увлек к окну. Я попытался догнать их, но тщетно - они улетели прежде, чем я добрался до разбитого стекла. Тут мне вспомнилось давнишнее желание: выглянуть из этого окна, единственного на всей Rue d'Auseil, откуда можно обозреть склон за стеной и панораму города внизу. Стояла кромешная тьма, однако городские огни горели всегда, и я надеялся разглядеть их даже сквозь пелену дождя и ветра. И вот, когда я посмотрел в это самое высокое из чердачных окон - позади меня шипели свечи и на пару с ночным ветром истошно завывала виола - я не увидел никакого города, никаких приветливых огоньков на знакомых улицах; там была одна только бесконечная чернота, фантастическое пространство, заполненное движением и музыкой, несхожее ни с чем земным. Я в ужасе смотрел в черноту, и в этот миг ветер задул обе свечи, и на старинную мансарду опустилась жуткая, непроницаемая мгла; я оказался между хаосом и адской круговертью снаружи и дьявольским, захлебывающимся ночным воем виолы внутри.

Спотыкаясь в темноте, я начал отступление от окна; мне нечем было развести огонь, я наткнулся на стол, опрокинул стул и наконец ощупью добрался до того места, где из тьмы неслись звуки чудовищной, кошмарной музыки. Но я, по крайней мере, мог попытаться спасти себя и Эриха Цанна, какие бы силы мне ни противостояли. В какой-то момент мне почудилось, будто нечто холодное скользнуло мимо меня, и я вскрикнул, но крик мой потонул в визге виолы. Внезапно меня ударило бешено летавшим по струнам смычком, и я понял, что музыкант где-то рядом. Я нашарил впереди себя спинку стула, на котором сидел Цанн, а затем нащупал плечо старика и сильно потрянул, стараясь привести его в чувство.

Ответа не последовало, и только виола продолжала бесноваться. Я коснулся ладонью головы Цанна, чтобы остановить ее механическое кивание, и прокричал ему на ухо, что нам обоим надо бежать отсюда, от неведомых сил, таящихся в темноте. Но старик ничего не отвечал и не приглушал свою неопишуемую яростную музыку, а между тем по всему чердаку в темноте и шуме, казалось, кружатся странные потоки воздуха. Коснувшись уха Цанна, я содрогнулся, еще не понимая - отчего; но уже в следующий момент мне все стало ясно - я ощутил под ладонью неподвижное, ледяное, застывшее, мертвое лицо с остекленевшими глазами, бессмысленно уставившимися в пустоту. И тогда, чудом нашарив дверь и тяжелый деревянный засов, я опрометью кинулся прочь от темноты, от этого существа с остекленевшими глазами, от дьявольского воя проклятой виолы, неистовство которой усилилось еще больше, когда я убежал.

Я прыгал, неся, летел вниз по бесконечным лестницам погруженного во мрак дома; ничего не соображая, выскочил на узкую, крутую ступенчатую улицу со старинными обветшалыми домами; загремел по ступеням и бульжной мостовой к расположенным ниже улицам и гниющей реке, закованной в ущельеподобные берега; задыхаясь, пересек огромный

темный мот и наконец достиг известных всем широких проспектов и бульваров. Ужасные картины этого бегства навсегда запечатлелись в моей памяти. А еще я запомнил, что никакого ветра не было, на небе сияла луна и повсюду мерцало множество городских огней.

С тех пор мне так и не удалось обнаружить Rue d'Auseil, хотя я предпринимал тщательнейшие поиски и расследования. Но я не слишком об этом жалею - ни о том, что не смог найти улицу, ни о том, что в какой-то невообразимой бездне исчезли плотно исписанные листы - единственный ключ к тайне музыки Эриха Цанна.

Перевод: А. Волков

1993 год